



## **В. Ф. ХОДАСЕВИЧ**

### **О Чехове**

Итак, со дня смерти Чехова прошло двадцать пять лет.

Эта годовщина застаёт меня в такие дни, когда мысль (да признаться — и сердце) заняты другим именем, совсем другим творческим и человеческим образом.

Чехов — и Державин! Кажется, труднее даже нарочно выискать двух русских писателей, двух людей, столь несхожих, столь чуждых друг другу, как эти два.

То, что один — поэт, а другой — прозаик, совсем не главное между ними различие, не самое разительное. Все другие гораздо разительнее.

Один — здоровый, кряжистый, долговечный. Другой — слабый, подслеповатый, вечно кашляющий, рано умерший.

Зато в творчестве мускулистого Державина всё — парение, порывание, взлет:

Необычайным я пареньем  
От тленна мира отделиюсь,  
С душой бессмертною и пеньем,  
Как лебедь, в воздух поднимусь.

Хворый Чехов не любит «необычайного»; он весь обычаен, он совсем не хочет парить, а, напротив, любовно и прочно привязан к земле, ко всему простейшему, самому будничному; и в бессмертие души он, по-видимому, не верит. Чеховская чайка не стремится ввысь, как державинский лебедь; она стелется над водой и льнет к берегу.

Державин — лирик, Чехов — эпик. Но державинская лирика мужественна и все время стремится стать эпосом, в то время как эпос Чехова — лиричен и женствен. Державин — всегда в кипении, в борьбе, и чего только нет в его жизни. Он низко падает

и высоко восходит. Чехов от всякого шума отходит в сторону, его жизнь — кабинетная, биография — литераторская; он не совершит ничего предосудительного, но и на подвиг вряд ли способен может быть, по скромности.

Державин — воин, Чехов — врач; Державин несет меч и страдание, Чехов — примирение и облегчение. Державин на своем веку шесть человек повесил, Чехов, должно быть, нескольких вылечил.

Державин суров и строг, Чехов снисходителен. Державин упрям и сварлив, Чехов мягок, доброжелателен. Державин горд и честолюбив откровенно, даже до дикости; о себе он «мечтает»:

Един есть Бог, един — Державин.

Чехов до той же крайности скромнен: Толстой со слезами на глазах расхваливает его рассказ; Чехов краснеет, молчит, протирает пенсне и наконец говорит: «Там — опечатки»... Державин не стыдится гоняться за орденами; единственный орден свой, звание почетного академика, Чехов при первом удобном случае возвращает обратно. Державин ссорится с тремя императорами, он топчет ногами на Екатерину и в глаза обзывает грозного Павла таким словом, какого и напечатать нельзя. Один из двух императоров, при которых протекла творческая жизнь Чехова, даже не знал, что есть у него такой подданный: Антон Павлович Чехов, врач.

Державин — организатор, администратор, министр. Чехов — созерцатель: самая даже мысль о действии, тем более о властвовании, ему бесконечно чужда. Жизнь Державина протекает среди «екатерининских орлов», порочных, хитрых, корыстных, но заряженных огромною государственной энергией. Чехову шум государственной машины несносен; ко всем управителям, бюрократам, властителям он стоит спиной; лицо его обращено к безгласной, унылой равнине российской, и «лишние» люди ему милее необходимых.

Державинский век — громовый, победный, завоевательный. Век Чехова — сперва век мира, потом — поражения. Эпоха Державина — созидательная, гармоническая, при всей своей многоголосице. Чеховская пора — пора кризисов, трещин, разладов. Державин строит, Чехов созерцает распад.

Державин умер сто тринадцать лет тому назад, Чехов — всего только двадцать пять, как будто вовсе недавно. Но столько за эти двадцать пять лет совершилось, мы столько пережили, мы такое

видели, что невольно спрашиваешь себя: да неужели же только двадцать пять лет? Так далеко от нас отодвинулась чеховская пора.

При Чехове мы умирали. Теперь мы умерли, перешли «за границу». Чеховская пора для нас то, что болезнь для умершего. Но если нам суждено воплотиться вновь (а ведь только об этом вся наша молитва, только к этому — вся наша воля), то наше будущее — не «чеховские настроения», а державинское действие. Если России дано воскреснуть, то пафос ее ближайшей эпохи, пафос нашего завтра будет созидательный, а не созерцательный, эпический, а не лирический, мужественный, а не женственный, — державинский, а не чеховский. Державин заранее должен нам стать ближе Чехова.

\* \* \*

Андреевский сказал о Чехове, что он «прекрасный писатель своего момента». Нет, что-нибудь одно: или Чехов прекрасный писатель — и тогда не только своего момента, или же он для момента, но уж тогда не прекрасный. История не золотит пилюль. Прекрасных писателей для момента не бывает.

Писатель прекрасен всегда — или никогда. Но в разные моменты сама «прекрасность» его меняется. Если писатель прекрасен, то слово его живуче особым образом: в разные времена оно может звучать по-разному и разное значить. Вырастая, человек меняет свое понимание одного и того же произведения. Так и целые поколения, сменяя друг друга, в одном и том же писателе вычитывают разное. Новое время не только требует новых песен; оно по-новому слушает старые. Перемещаясь во времени, песня меняет цвет.

Вместе с чеховской Россией постепенно отходит в прошлое тот читатель, который впервые увидел в Чехове прекрасного писателя. Ближе то время, когда Чехову предстоит быть прочитанным по-новому. Прекрасным писателем он останется, но грядущий, завтрашний читатель уже не то извлечет из Чехова, что извлекал вчерашний. Равнодушно (а может быть — более чем равнодушно) пройдет он мимо того, что любил в Чехове его отец, — и полюбит за то, чего отец не замечал вовсе или замечал слишком мало.

Самые ранние произведения Чехова — рассказы, сценки, диалоги, напечатанные в печальной памяти «Стрекозе». Они приспособлены ко вкусу и пониманию читателя ниже чем среднего. Загулявший купец, модная барынька, спящие «отцы города»,

конка, кум-пожарный и знаменитая теща — вот излюбленные персонажи и темы читателя, которого работал Антоша Чехонте. Читать все это сплошь — горько и утомительно, но ознакомиться нужно. Чехов работал ради грошового заработка, но не все здесь — только от голода и вынужденного приспособления. Есть и неразвитый, очень низкий, еще мальчишеский вкус Антоши Чехонте, который сидел в Чехове. И вот когда после этого станешь читать «настоящего» Чехова, от книги к книге, то оказывается, что литературная история Чехова есть постепенное, трудное освобождение от Антоши Чехонте, с его темами и приемами. Этой чисто литературной истории (проследить ее в подробностях была бы любопытная и сложная задача) соответствует более глубокая — внутренняя душевная.

Эта эволюция совершается постепенно, плавно: Чехов как будто накладывает мягкую, но строгую руку на шутовское лицо Антоши Чехонте: «Не гримасничай, не кривляйся».

И под плавным давлением этой ладони лицо становится все серьезнее, чтобы стать наконец бесконечно грустным.

Вырастая как мастер, все дальше отходя от банальных приемов и грубых шуточек Чехонте, Чехов мало-помалу притупляет острие своей насмешки. Больше того: сохраняя некоторые приемы комического стиля, он их заполняет (особенно в пьесах) некомическим содержанием. Из юмориста Чехов становится лириком, продолжая работать на том же бытовом материале.

Совершенствуясь в мастерстве, Чехов одновременно меняет и внутреннее отношение к своим персонажам. Сперва он их показывает как пошляков, потом — как чудаков, потом как обыкновенных людей, потом жалеет, потом начинает в них находить достоинства и кончает великою к ним любовью.

Они ответили ему тем же: чеховская Россия полюбила Чехова, герои аплодировали своему автору — за то, что своей лирикой он оправдывал их существование, за то, что в его любовном изображении они увидели себя лучше, красивее, за то, что их пожалели и приласкали: ведь с гоголевских времен их только и делали, что бичевали. Там, где Гоголь увидел «свиные рыла», Чехов нашел усталые, больные, грустные человеческие лица. Тех, кого Гоголь проклял, Чехов приласкал. Гоголь требовал: станьте другими, не то придет ревизор — и погибнете! Чехов утешил: ну где уж нам стать другими, да вы ведь и так хорошие; вот лет через 200–300 жизнь на земле станет прекрасна — и вы отдохнете.

«Пришло нам спасти нашу Россию!..» Но Гоголь вопил в пустыне.

«Лет через двести-триста все само образуется», — утешал Чехов, и люди теснились к нему толпой. А земля под ними уже готова была колыхнуться. Как раз перед первым толчком Чехов умер.

\* \* \*

Жизнь на русской земле не скоро станет прекрасна. Но застрашные русские люди будут знать твердо, что приблизить «доброе новое время» зависит от них самих, что его надо не ждать, а торопить, не призывать, а создавать, не приколдовывать, а делать. Так бывает всегда в творческие эпохи.

Лирика Чехова этим людям станет в лучшем случае чужда, в худшем — досадна, враждебна. Из кого бы ни состояла будущая Россия — из чеховских героев она состоять не будет. В жизни они явятся разве только больными исключениями, в литературе их разлюбят, потому что перестанут понимать. В прекрасном писателе Чехове будут вычитывать не их, а нечто совсем иное.

Эпоха — лишь сцена, герои — лишь маски, наделенные характерными свойствами. Содержание пьесы не в декорациях и не в самих героях как таковых. И то и другое можно менять, не нарушая замысла (условные, постоянные маски итальянской комедии для того и были придуманы, чтобы подчеркнуть несущественность индивидуальных отличий у персонажей). Содержание — в жизненных соотношениях, в коллизиях, возникающих между героями. Не сами действующие лица, но то, что лежит между ними — их столкновения, сцепления, соотношения и открывающиеся за всем этим жизненные перспективы, — вот что составляет истинное содержание литературного произведения.

Славу Чехова создал его лиризм. Но будущий читатель, пройдя мимо лирики чеховских персонажей, совлекая с них эту условную, временную приметку, будет читать иное: не лирику, но то, что лежит под нею, глубже нее. И тогда он увидит, что серые, бездеятельные персонажи Чехова заряжены той же взрывчатой энергией жизни, как и подлинные герои; окажется, что их столкновения, сведенные Чеховым к простейшим сюжетным постройкам, открывают гораздо более значительные и трагические перспективы, нежели «тоска», которую в них вычитывал прежний читатель.

Читатель будущий, отделив и отвергнув ненужную ему лирику Чехова, найдет под ней подлинный, первоначальный двигатель чеховского творчества — эпос. Под упадочными «настроения-

ми», созданными не столько самим Чеховым, сколько чеховщиной, он найдет более жизненную философию, самовозникающую из всякого эпоса, потому что эпос по самой природе своей всегда жизнен, хотя бы даже материал, из которого он воссоздан, был мертв. Мертвенные герои Чехова будущему читателю будут повествовать о жизни.

